

Н. Ф. Павлов

**Ятаган**

**Н. Ф. Павлов**

# Ятаган

повесть

*"Il avoit a la main une esp'e de vilain coutelas..."*

*"Un ataghan?.." dit Chateaufort qui aimoit la couleur locale.*

*"Un ataghan", reprit Darcy avec un sourire d'approbatlon.*

*La double miprise*

*("В руках у него был какой-то скверный тесак..."*

*"Ятаган?.." - перебил его Шатофор, любивший местный колорит.*

*"Ятаган", - продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись.*

*Мериме. "Двойная ошибка")*

**О**, как шел к нему кавалерийский мундир!.. как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом!.. как ловко перехватывал по несколько раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые, уклончивые ветви белого пера!.. То резво бросал он ее род левую руку, то важ-

но опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и стараясь сторбить немного прямизну своего стана. С какою ногой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярки цветом, как вороненая сталь. Этот ус не походил на густой, суровый, беспорядочный, висячий ус закоренелого солдата, этот ус не закоптел еще в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. От него не задрожал бы неприятель, не обомлел бы жид, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж. Это был ус не для бивака, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтоб оттенить румянец губ и белизну зубов, чтоб придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые эполеты! Хотя тогда не было еще эполет кованых, металлических, пре красных, но зато не было

и звездочек, губительных для че столюбия корнета, которого душа рвется в ротмистры. По тому-то, может быть, он посматривал на свои плечи с осо бенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его кра сивой груди, горели пуговицы, блестел темляк, все было, говоря попросту, с иголки, - и его гибкие, стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андриё, промчаться в коляске, явиться с лорне том в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать изда лека, не идет ли полковник, не едет ли генерал, и если возле него мелькнут живые глаза, локон, ниспадающий шарф, - он не будет уже погружен в думу о беспокойном слове: пальцы по швам. Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешился мыслию, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты, когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке; как будто он предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги, как будто ду-

мал... но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет?.. У кого с этим чином не связаны воспоминания детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы и, что всего лучше, много молодости!.. Единственный чип, младший, четырнадцатый член огромного семейства, но милее всех своих братьев!.. Придут другие чины!.. Время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалованье за жизнь, придет все: и генеральство и звезды, да не придет молодость корнета!.. Витые эполеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтоб полюбоваться ими... тогда уже другое! тогда уже мысль о власти!.. что-то мрачное, таинственное, коварное!.. Корнет, первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка лестница, называемая жизнью: первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться, как другие!.. Корнет не то что коллежский регистратор, исчадие чернил, рабочий грязных судов, безответный труженик опрятных канцелярий, который растет помаленьку над бессмыслицей прозы в духоте че-

тырех стен!.. Корнет не то что студент, получивший аттестат: студент, еще не доучась, танцует на балах, повязывает галстук по последней моде, сидит знатоком в театре, играет роль; студент может скрыть, что он еще учится... а потому чувства юнкера, надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного!.. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха; может быть, удовлетворенная зависть, может быть, сродное человеку желание иметь менее начальников... словом, я не знаю что... только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой!.. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю бог знает куда и влюбился бы без памяти в первую, которая б приласкала его... минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета. Восторг молодого человека покажется

естественнее и по нятнее, если я означу эпоху его производства в корнеты. Это случилось в те недавние годы, как женские лифы бы ли короче и как военные, кроме армейских пехотных офице ров, торжествовали на всех сценах: от паркета вельможи до избы станционного зрителя. Мундир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью; для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту; для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу, временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой, или врожденная в нас склонность к пестроте, склонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело, - неизвестно, что внушало предпочтение, только весь первый план живых картин общества был уставлен стройными фигурами, на которых играли краски всех цветов, а одноцветный фрак стоял далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостиным робкими шагами незваного гостя, и ничей

взор не следил его, и никто не 'справлялся о нем, билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностью, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долготелную привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистою речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами. В эту эпоху юнкер был пожалован в корнеты. Он при надлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о Кинбурнской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах; какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного

чьей-нибудь памяти; оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захоlustьям деревень и по ярмаркам московских гостиных; какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом и заложенные, вместе же с этим - банкротство. Покойный отец корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния, накопленного трудами предков под сенью воеводства, винной продажи или торго рекрутами, не могли бы доставить ему средства для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии, о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставляли ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын ее не задумался над расходами необходимой роскоши, только б конь ее сына так же

красиво рыл землю, как конь первого богача. Образ ее жизни, ее разговоры, ее письма представляли утешительные доказательства материнской любви, чистой, попечительной, не перепутанной с другими корыстными чувствами, - любви, которая не упрекает в равнодушии, не мстит за неблагодарность, не обманывает и не пристаёт: "Будь со мной, живи и умри возле меня". Если часто такая любовь, как все прекрасное, достается недостойному, по крайней мере это пошлое правило нельзя, мне кажется, применить к корнету, потому что он редко пропускал почту и без лени брал перо, когда надобно было писать к матери. К тому же, тотчас после производства, загорелось в нем желание проситься в отпуск. Конечно, он хотел обрадовать ее, разделить с нею свое восхищение; а может быть, досадуя, что никто в Петербурге не засуетился вместе с ним и не заметил, что на белом свете стало одним офицером больше, он хотел поскорее туда, где, вероятно, заглядятся на него, примут на сердце все прелести гвардейского мундира; где есть и радостные слезы матери, и деревенские соседки, и невиданные глаза, и гу-

бернский город. При всяком возвышении хочется удивить кого бы то ни было, как при всякой мысли, которая нам нравится, хочется высказать ее тому, на кого она сильнее подействует... Прошло сколько-то времени, и веселый корнет скакал по тульской дороге, прикрикивая на стационарных смотрителей и буня немного с извозчиками... Поздно вечером подъехал он к старинной обители своих предков. Месяц бросал несколько лучей на огромные и ветхие хоромы. Никто не шевелился, только ночной сторож колотил в доску. В первый раз увидел корнет этот дом, где жили его отцы, где живет его мать, откуда столько любви долетало к нему до Петербурга... Взволнованный, он торопливо выпрыгнул из коляски. "Матушка, верно, почивает", проговорил камердинеру, и в этих звуках сказала прекрасная минута сердца!.. Помаленьку поднялась суматоха... забегали огни... "Молодой барин, молодой барин", - зашумели по дому... вдруг появилась дрожащая старушка в спальном платье, всплеснула руками и с криком: "Сашенька, друг мой!" - упала расплаканная в объятия сына. Бьется сердце во многих объ-

тиях, при многих встречах: есть друзья, жены, невесты... есть горячие поцелуи и радостные слезы, но нет слезы чище, нет поцелуя откровенней, как слеза и поцелуй матери!.. Весь этот корыстный мир приязни, склонностей, страстей, лобзаний, и клятв, и восторгов не может проникнуть в сокровеннейшие изгибы нашего сердца и наполнить его таким твердым убеждением, такой светлой уверенностью, с какою сын кидается на грудь матери!.. Не только труды, заботы и все вещественные удовольствия она приносит ему на жертву, лучшее чувство души, невыразимую радость свидания, свое высочайшее наслаждение - спешит отдать за его спокойствие. Она исчезает, точно нет ее. - Сашенька устал с дороги, Сашеньке надо отдохнуть, приготовьте поскорей комнату, что возле кабинета. Ты, друг мой, спишь на тюфяке или на перине? Да ты весь в пыли, да что ж Сашеньке ужинать? Напрасно он говорит: "Я не устал, я не хочу спать, по звольте мне побыть с вами..." - она не верит, она все хлопочет, как бы уложить Сашеньку, а столько лет не вида лась с ним, а так пристально смотрит на него!.. - Ты,

право, похудел с дороги... мне и в голову не приходило ждать тебя: ни слова не писал... Завтра твое рожденье, друг мой; ты знал?.. у меня обедает князь с дочерью; я думаю, ты помнишь его, ты уж был не маленький... Здравствуй, Павел, здравствуй!.. Камердинер корнета целовал руку у барыни, и она плакала от радости, что видит Павла. Между тем в дверях гостиной, где происходила эта сцена, трудная для описания, потому что оттенки материнской любви так же нежны и неуловимы, как цвет ясного неба, между тем в дверях начали мелькать полурастрепанные прически, сонные лица и с робким любопытством выглядывали из слабо освещенных комнат. Наконец собралась беспорядочная толпа, удивительно разнообразная в нарядах. Впереди старая няня корнета и кормилица, за ними большая часть природных дворовых и несколько происшедших. Все сперва в церемониальном порядке, а там наперерыв бросились по-русски прикладываться к ручке молодого барина, которую он по-немецки не давал. С таким усердием и с такою настойчивостью они ловили его руку, что если б не заме-

шались тут няня и еще кой-кто старее корнета по крайней мере втрое, то человек несведущий сказал бы: "Это отец, это дети!" После трогательных и поучительных картин, после раз личных излияний души, происходивших от разных побуждений, у кого от любви, у кого от привычки, после замечаний о красоте, о росте, о мундире корнета, замечаний, сделанных матерью, дядей и кормилицей вслух, публично, а прочими за углом, не в барском присутствии, - словом, после ужина приезжего уложили. Он давно спал, а мать не спала. Завтра рождение сына! Чем подарить его? Надо, чтобы, проснувшись, он увидел подарок перед собой! Который послан в Петербург - не поспел. Пошли большие хлопоты!.. Няня с кормилицей позваны к барыне на совет: каждая подавала мнение; но, как на многих советах, каждое мнение было нехорошо. Растворили шкафы, перерывали сундуки! То дурно, то нейдет, то не понравится, и горничная, которая отправляла должность секретаря, то есть все делала, и вынимала, и клала, и приносила, - начала уже заботиться о здоровье барыни: - Вы, право, сударыня, занеможете:

ведь посмотрите, уж почти совсем рассвело. В это время нерешимости и неудач, когда у всех, даже у няни с кормилицей, кроме одной матери, обнаружилось большое поползновение ко сну, в это время она вспомнила об одной вещи!.. Вещь прекрасная, приличная военному... но есть примета, примета народная, примета давнишняя!.. Вещь принесли. Все похваливали, прибавляя: "Да этим, сударыня, не дарят", и старушка впала в раздумье... Не дарят!.. А подарок понравится сыну! Этот подарок дошел, как наследственная святыня, до третьего пли. четвертого поколения; напоминал о подвиге воина, знаменитого в родословной корнета... этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса, этот подарок был ятаган.

## II

Много рек рассекает необъятную Россию. Питательные жилы огромного тела то бьются неприметно, как волосяные сосуды, то кипят

жизнию, как начальственная артерия. Жи во-  
пись природы, отрывки из истории разброса-  
ны на их бере гах, а ни у одной нет столько  
поэзии в названии, как у ре ки, которая про-  
текает по Тульской губернии от северо-за па-  
да к юго-востоку. Пробив землю неутомон-  
ным ключом, она явилась на свет в Богоро-  
дицком уезде, прорезала себе путь чрез Ефре-  
мовский, и видно, с каким усилием рвалась  
между гор, металась от скалы к скале, чтоб,  
наконец, добраться до Дона. "Красивая  
Мечь" - прозвал ее народ, не согласуя прилага-  
тельного с существительным. В том месте, где  
она выгиба ется наподобие рога и где стоит  
село Изрог, сохранилось до сих пор темное  
предание о приключении, от которого будто  
бы произошло это поэтическое имя. Рассказы-  
вают, что там какой-то Ярослав переезжал ко-  
гда-то через мост в коляске; что лошади прова-  
лились; что он, для спасения любимого коня,  
вынул меч и хотел обрубить постромки, но  
уронил его в воду. Есть еще предания, есть  
еще поэзия старины в окрест ностях Краси-  
вой Мечи. Близ нее лежит так называемый  
"КоньКамень", окруженный своими обломка-

ми и другими камнями, вросшими в землю. У иных это проезжий витязь, это безбожный народ, который осмелился творить в честь его игрища и пляски на день вознесения. У иных это чуже странный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. Там накануне Иоанна Крестителя, Ивана Купалы, сверкает таинственный огонь по верхам гор, спускаются с неба свечки и венцы. "Свечка горит", - скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог весть, кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненным кладом или над русским, убитым за независимость. Студеная прозрачная река течет так же быстро, извивается так же неправильно, как летает над нею ласточка, беспокоясь о приближении тучи. Высокий тростник шумит по ее заливам. Круты, отвесны берега ее. По ним тянутся леса, кое-где возвышаются курганы, надгробные памятники безыменных людей, и кое-где мелькают разноцветные скалы: то бледные, то голубые, то желтые. Тут дико глядит при рода, и

когда осень, обрывая деревья, подергивает зелень краскою смерти, тут приятно смотреть на орла, как он, опустясь на прибрежную вершину, сидит спокойный с чувством своей царственной силы. Река красивая, река живописная, очаровательная Мечь!.. В иную минуту ее небо при мешь за небо Швейцарии!.. Далее от берегов за лесами, за курганами открывается обширный горизонт: деревни, поля, рощи. Картина более игривая, более суетная... На ней жизнь, труды, пот человека, и чтоб эта жизнь, эти труды не показались горькими, па нее должно любоваться не осенью, а при блистательном солнце лета, в летний полдень, в летнее утро!.. Велико наслаждение писателя, если придется ему рас сказывать происшествие, которое случилось в неизвестном углу, да хоть сколько-нибудь заманчивом для воображения; происшествие на просторе поля, не в сонном городе, где пет приключений на улицах и страстей в гостиных; где жизнь изнашивается без жизни и где не вымолишь у нее ни одного предмета для повести. Много лет тому назад на берегу Красивой Мечи в пре красный вечер июня, в эти сладкие часы,

когда у юноши на вертывается безотчетная слеза мечтательности, небольшое общество расположилось около чайного стола в душистом саду, под тихим небом деревни. Тесный кружок состоял из людей одного племени, одной классификации: но, судя по первому взгляду, некоторые отделялись от других резкою межою понятий, привычек, образованности. Случай не но вый!.. От чайного столика до пышного обеда, от семьи до бала все то же: говорят одним языком и не понимают друг друга. Кроме этого разногласия в образе воспитания и в обороте мыслей, тут таилась еще причина для щекотливого спора. Все страсти, желания, склонности человека умещают ся легко на самом узком пространстве, и этот малый мир, сколок с большого, заключал в себе начало многих разно образных волнений сердца. Для одних тут было чему радо ваться, на что надеяться; для других - чему завидовать, чего искать и на кого взглянуть. - Прикажете ли, папенька, еще чаю? - Да помилуй, Верочка, я и этого допить не могу. У ме ня слишком сладко, а Андрею Степановичу ты, кажется, на лила совсем без сахару. Он своей

чашки и не отведал. После этих слов отец Верочки опустился в кресло и про должал беспечно пускать на воздух легкие струи дыма. Верочка спешила поправить свое рассеяние. Ее лицо, ве селое, одушевленное, приняло вдруг выражение некоторого спокойствия и важности, как бывает часто, если нечаянный намек, взгляд, звук, какая-нибудь безделица напомним жен щине, что она увлеклась немного. Но этот переход от дви жения к покою, от свободы к оковам не нравится... Приметное нетерпение мелькало в черных глазах, когда они оста новились на Андрее Степановиче и когда нежная рука с благовоспитанной небрежностью приподнимала для него дру гую чашку... Он вскочил, кланялся, просил, чтоб ее сиятельство не беспокоились, и уверял, что у него очень сладко. Наконец опять уселся, опять на кончике стула, боком, совершенно повернувшись к своему соседу, с тою переменою, что начал прилежно пить чай, который давно простыл от его вежливого обращения. Андрей Степанович говорил много и не менее того повторял: "ваше сиятельство, вашего сиятельства, вашему сиятель-

ству". Князь, важный старик приятной наружности, слушал его один: то холодно, то с участием, и по этому участию можно было догадаться, что если Андрей Степанович считается первым охотником в уезде, то зани мает также немаловажное место и в иерархии богатства. У них образовалась беседа своя. Никто не мешал им, и никому они не мешали. Только иногда князь, услышав нечаянное какое-нибудь слово, сказанное в другом отделении об щества, бросал туда одну из этих несвязных и часто обид ных фраз, на которые вельможи не ждут ответа и на которые нечего отвечать; да иногда Андрей Степанович делался предметом общего внимания. На несколько секунд умолкали все. Корнет, залетевший из Петербурга на стул подле княжны, перерывал разговор с нею и щурился, всматриваясь в Андрея Степановича; старушка, сидевшая против нее, не сводила с корнета глаза; княжна не позволяла себе ни малейшего движения, но видно было, что скрадывает улыбку, готовую просиять на ее устах; полковник, стоявший на середине круга с ятаганом в руке, вытягивался во всю дли ну воин-

ственного роста, а лет тридцати мужчина в адъютантском мундире, развалясь немного неучтиво на креслах, под нимал голову вверх и смотрел на небо, точно ничего не слушает. Адъютанты часто, как и чиновники особых поручений, заносчивы, потому что, спутники большой планеты, они имеют право вертеться около нее. Это явление происходило в те минуты, когда голос Андрия Степановича раздавался громче, глаза полнели, лицо краснело, когда вспышки охотничьего красноречия, выражения, созданные вдохновением страсти: "стая закипела, и матерой волк загорелся в чистых полях" вырывались из его широкой груди. Но проблеск внимания исчезал быстро, и совершенное равнодушие к особе Андрия Степановича за ступало место электрического действия. Корнет по-прежнему обращался к княжне, по-прежнему старушка смотрела только на него и любовалась им нежнее и становилась на блюдетельнее, как будто хотела воротить потерянное мгновение, искру участия, украденную другим у предмета ее невыразимой привязанности. - Позвольте заметить, кинжалами не дарят, -

сказал полковник, относясь к пей, поглядывая значительно на княжну и повертывая ятаган, привезенный по просьбе князя на показ военным гостям. Ножны кинжала, покрытые облинялым бархатом, были перехвачены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоенной сверху, обложенной дорогими камнями неискусной грани, осыпанной жемчугом, недоставало не скольких украшений: камни повыпадали, жемчуг затерся, но на прихотливом оружии все еще уцелело клеймо роскоши и азиатской красоты, свидетельствуя ясно, что прямой узор чатый клинок, закаленный на заводах Дамаска, служил не уличному убийце, не для куса хлеба. - О, я с него взяла за это грош, - отвечала полковнику мать корнета. - Мало, Наталья Степановна; да и гвардейскому офицеру нейдет платиться медными деньгами, - возразил князь, придавливая большим пальцем табачный пепел в трубке. - Вы шутите, папенька; а подарить кинжалом в день рождения - это страшно. Тут княжна откинула рассеянно черный волнистый локон, который закрыл было яркие лучи одного из ее прекрасных

глаз, бросила беглый взгляд на полковника с адъютантом и обернулась к корнету. По-видимому, она старалась поддерживать общий разговор, сколько этого требует учти вость от полной хозяйки дома, и нередко должностная фраза, тяжелая дань общежитию, слетала с ее соблазнительных губ. Но почти всякий раз после такой фразы она обращалась к своему соседу и забывала других и слушала его так живо, что противоречие или согласие, да или нет, рисовались заранее в ее выразительных чертах. Заранее она давала ответ ему то благородной усмешкой, то живописным наклонением головы, то неизъяснимым красноречием взора. - О, я не боюсь примет, - сказал молодой гвардеец, по свящая свои слова также целому обществу. - И зачем вы пугаете меня, княжна? Его, кажется, отнял мой прапрадед, матушка, у сераскир-паши или у трехбунчужного? Эти на следственные предания воспаменяют потомков... мне уже хочется отнять у какого-нибудь паши саблю... Я велю обтянуть его новым бархатом... Позвольте мне, княжна, думать, что мой ятаган не страшен. - Кинжал примечательный... можно б

сказать, пре красный, если б прекрасно было убивать людей, - прогово рил адъютант и ушел в свой черный галстук. Он почти все молчал; переставая молчать, почти все относился к пол ковнику, а между тем пристально, язвительно следил все движения корнета, все взгляды княжны и беспокойно вслу шивался в каждое их слово. Напрасно небрежным положением тела он силился принять на себя равнодушный вид, напрасно прибегал ко всем приемам изученного хладнокровия, которое помогает утаить бунтующее чувство, и с улыбкой счастья, с порывами восхищения вытерпеть пытку самолюбия на дне души, без свидетелей. Оно, оскорбленное, прорывалось наружу и в тонких переменах желчного лица, и в изысканной замысловатости, и в насильственном предпочтении полковника всему обществу. Племянник могущественного дяди, адъютант известного генерала, он находился в отпуску у родных и, будучи знаком с князем по Москве, сделался у него в доме ежедневным гостем. Хотя часто он встречал тут и полковника, расположенного также в сосед стве с своим полком, и хотя у этого было заметно

менее на клонности к приданому невесты, чем страсти к ее увлекающей красоте, но адъютант не робел. Лоск светскости, смелость паркетной опытности внушали ему высокое мнение о себе и унижительное о сопернике. Деревня удивительно питает гордость. В деревне на каждом шагу представлялись ему эти мелочные, но сладкие утехы самолюбия, до которых никак не доживешь в большом городе, потому что там много адъютантов. В деревне он видел себя единственным представителем столичного общежития и являлся перед княжною торжественный, веселый, а может быть, и уверенный в победе. Вооруженный великолепными фразами и неистощимыми воспоминаниями 1812 года, ходячая реляция, герой всех своих рассказов шумел в целом уезде, тем более что чувство чести, развитое в нем до крайней степени, налагало благоговейный страх на простодушных помещиков. Это была честь щекотливая, честь недоступная, честь во всех суставах и мускулах. Если, бывало, Андрей Степанович или какой-нибудь щеголь в розовом галстуке неосторожно задевал его локтем на деревен-

ском пиру и потом рассыпался в извинениях, то с этой честью делалась судорога: адъютант наклонялся важно в знак прощения, но продолжительным уничтожающим взглядом измерял дерзкого с ног до головы. "Не верьте, - говаривал он, - если кто скажет, что в душе не трусил ядра пли пули; но трусов нет, струсить в сражении нельзя", и, отправляясь от этого предисловия, судил о храбрости, как о деле весьма обыкновенном, припоминал свои подвиги так, мельком, более от солдатской откровенности, чем от желания выказать себя; однако же все успели подробно узнать, что приключилось ему на высотах Монмартра, в каком углу Европы был он окружен французскими латниками и на котором клочке Бородинского поля воевал с Наполеоном. Ему удивлялись, а княжна, кстати о высотах Монмартра, расспрашивала о Париже, о Тальме. В эти минуты храбрости, ловкости, красноречия, самозабвения, в эти минуты, которые испытал всякий, кому случалось ораторствовать в глуши деревни или за Москвой-рекой, где нет никого, чтоб вас перебить, затмить или вам противоречить, в эти минуты, ми-

молетные, как день, упал с неба корнет. Какая-то мрачность подернула блистательного адъютанта, и княжна стала так рассеянна, что не могла уже слушать последовательно длинную историю военных походов. Уже за чайным столом он не находил в себе искусства овладеть разговором, не поспевал за быстротою светских мыслей, которых никак не догонишь, если самолюбие мучит душу и исключительная дума давит воображение. Уже, наконец, он не глядел ни на княжну, ни на корнета; он напал на полковника, и, придираясь к ятагану, начал громко объяснять, каким образом достался ему под Красным кривой кинжал, вывезенный из Египта французским генералом; каким образом турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лежа стреляют; словом, он, казалось, совершенно пренебрег вниманием княжны, только речь его все походила на золотой мундир камергера, причисленного к герольдии. Между тем как адъютант разыгрывал роль жертвы, которая переносит свое несчастье с достоинством, резвая хозяйка забыла давно о ятагане. У нее с корнетом пред-

меты пролетали молнией мимо светского внимания, рождались и мерли, как слава в наше время; их разговор был разговор беглый, скользящий, проникнутый братством воображения, сходством вкусов, всею легкостью молодости, всеми цветами нарядов, балов, красоты, богатства. - Вы смеетесь, княжна, - сказал, между прочим, корнет, - а чай не деревенское удовольствие, для чая нужен город, зима. Во-первых, при дневном свете чай уже не то: для него необходимы свечи. После спектакля, часов в одиннадцать вечера, когда вы сидите за фортепьянами, а снег заносит окна, тут я понимаю чай; вот эти минуты сотворены истинно для чая! - Чай на чистом воздухе всего приятнее, - заметил полковник, который покушался давно поместить свое слово и отдохнуть от обязанности слушать теорию ятагана, выученную им твердо в школе сражений. К тому же он думал, вероятно, угодить княжне. И она вступилась за чистый воздух, восстала против поздних вечеров, против всех обыкновений столицы, восстала за деревню, но так мило, так неискренно, так неубедительно!.. Звуки ее голоса за-

щитили и утреннюю зарю, и уединенные прогулки, и весь восхитительный мир патриархальной жизни, да только пристрастие к невинным суетам проглянуло на ее лице... спектакли, балы, ловкий гвардеец кружились перед нею, - она перенеслась на солнце паркета; но спорила, по нападала на них, потому что нельзя же высказывать эти тайны сердца; потому что ложь лучше истины; потому что женщина всегда хвалит то, чего не любит, и любит то, чего не хвалит. Отрывистое изречение полковника пропало, как подвиг солдата, как мысль, зачеркнутая красными чернилами, как жаркое чувство в глазах робкого юноши, когда он следит издали великолепную красавицу, которая не узнает никогда о его скромном существовании. Во все продолжение этой беседы полковник стоял: то в нерешимости, куда девать ятаган, то принимался снова рас сматривать его, то подпирался обеими руками, стибал левую ногу и пристукивал шпорой, то щипал бакенбарды. Кресты и медали, законная вывеска благородной души, полезных трудов и неустрашимости, были красиво развешаны на его груди в убийствен-

ном количестве... Но грустная мысль!.. это лицо, опаленное порохом, эта грудь, по которой столько раз скользил неприятельский штык, эти знаки отличия, из которых, может быть, каждый прикрывал рану, все терялось, все как будто не было!.. Непостижим доступ к сердцу женщины!.. Не она ли отзывалась о нем с особенным уважением за то, что он никогда не навел разговор на войну, не намекал на собственные заслуги, хотя и замечала, что ему все хочется щеголять светскостью... Не она ли отдавала полную справедливость его молчаливой неустрашимости, признавая ее первым достоинством в мужчине!.. и со всем тем послужной список, исчерченный кровью, не мог занять первого места за чайным столом...

### III

В усадьбе князя водили расседланных лошадей, когда его дочь, в верховом платье, в мужской шляпе и с хлыстиком, подошла проворно к стеклянным дверям, откуда отлогий скат, уставленный по сторонам лиловыми и белыми левкоями, спускался в широкую длинную аллею из столетних столбовых де-

рев, аристократически мрачную и богато опрятную. В самом конце ее, где был выход из сада, стоял корнет с адъютантом: этот как будто имел намерение не сходить с места; тот как будто колебался в нерешимости: остаться или уйти. Княжна выдернула из-за пояса лорнет и стала смотреть украдкой с таким любопытством, что казалось, ей очень хотелось заменить чувством зрения ограниченность другого чувства и подслушать глазами далекий разговор. Он приметно оживился. Спокойствие, требуемое от образованной осанки, нарушилось у офицеров во всех частях: кто трепал аксельбанты, мямлял фуражку, кто пожимал плечами и махал рукою... однако еще немного, и они разошлись бы довольно смирно. Корнет отступил уже шага три, адъютант почти совсем отвернулся, но только взглянул назад, кивнул головой... и вмиг корнет остановился; сделал знак на дом и на аллею, надвинул фуражку... Адъютант к нему... и оба вместе исчезли из сада. Лорнет закачался на золотой цепи, княжна потупилась. Обвила хлыстик около руки с большим тщанием, оторвала рассеянно несколько листков у пре-

красной штамбовой розы и медленно пошла к фортепьянам; оглянулась на аллею, оглянулась еще раз, задумчиво пролетела пальцами по клавишам и с небрежностью мужчины кинулась на диван. Шляпа упала с нее, и она приняла одно из этих неправильных, искусительных положений, которые не терпят свидетелей, таятся в непорочности девичьего уединения. Это был отдых от неволи, бунт против привычек воспитания; это были обременительные размышления, итальянская лень или заманчивая мечта! О чем думала княжна?.. О чем думают княжны наедине?.. Голос отца застал ее в живописном застытии, и она опомнилась и вдруг из прелестной романтической женщины превратилась опять в прелестную классическую книжну. - Да что такое у вас случилось? - спросил князь с видом неудовольствия. - Полковник не умел мне объяснить причины: говорит, что не знает; однако ж я послал его помирить их непременно... Это почти у меня в доме, ездили с тобой... - Я и сама не знаю, - томно отвечала княжна, - лошадь у адъютанта испугалась, он упал... - Ну да, упал, это уж я слышал! - пре-

рвал князь, складывая руки на спине и начиная сердито ходить по комнате. - И упал довольно смешно, папенька; сын Натальи Степановны улыбнулся и, не помню, что-то сказал мне. Я смотрю на адъютанта... кажется, вскакивая на лошадь, он ви дел, как тот засмеялся... - Да я и тебя не оправдываю... Это один предлог для адъютанта: разумеется, всякий выйдет из терпения, когда его выбрасывают из общества, не замечают... Тут князь стал проповедовать дочери тяжелую науку света; а как проповеди, советы и всякого рода нравоучения бывают длинны, когда читаются людям слабым (краткость создана силой!), то он распространился об этом предмете, обвинил корнета за молодость, а дочь за опрометчивость в обращении и вообще остался верен назначению всех нравоучителей и судей, которые умеют осудить, да не умеют уберечь никого от слабости или преступления. Однако же под конец начал смягчать жестокость упреков выражениями: "друг мой, милая"; потому что княжна сильно растрогалась. Приученная по смерти матери к безусловным похвалам, к безусловному исполнению своих

прихотей, она прослезилась, слушая отца и ломая хлыстик. Трудно решить, досада ли извлекла эти слезы или приготовленные в душе для другого чувства они заблестали на густых ресницах при первом удобном случае. Женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь. Едва князь, движимый отцовскою нежностью, умерил ско рость диагонального путешествия по гостинной и произнес несколько слов более снисходительных, как дочь, после про должительного молчания, не возразив ничего на родительский приговор, спросила с живостью: - Да куда ж полковник пошел? найдет ли он их? В эту минуту загремели шпоры. Княжна бросилась в другую комнату, притворила за собой двери, но не плотно, и приложила ухо. Она не могла не вспомнить, что нельзя ей показаться полковнику: не причесана, не переодета, в волнении!.. вслед за ним явилась и Наталья Степановна с веселым лицом, а потом он подошел к князю скорым шагом, и на вопрос: - Ну, что там? Отвечал шепотом: - Маленькая неприятность, ваше сиятельство . . . . .

. . . . .

#### IV

Вы, может быть, помните, как однажды волновалось московское общество, и позвольте мне употребить это вы ражение, вопреки несправедливым, раздраженным жестоким судьям, которые утверждают, что общество московское не волнуется, что оно равнодушно, холодно, что у этой ко кетки и глаза не живы и душа мертва! Вы, может быть, подкрепите меня свидетельством пред всяким, кто любит читать одну правду. Да, страшное волнение встретило в го стинных князя с. дочерью, когда они воротились на зиму в Москву. Волнение вполголоса, без признаков на лицах, не приметное для поверхностного взгляда. Красота княжны не изменилась, но огонь не оживлял ее речей, и черты, где при малейшем впечатлении сверкал ум или теплилось чувство; где все внушало или благоговение, или страсть, где был и ангел света и ангел тьмы, - эти черты приняли в себя что-то однообразное, неподвижное, безответное; приняли такое выражение, которое часто на лице женщины приводит вас в отчаяние и не позволяет ни какой заносчивой мысли закрасть-

ся к вам в голову. Лучшая струна сердца, струна симпатии, назначенная для отголосков на все звуки, молчала, как будто приучалась к одному. Никогда наружное кокетство, отданное в удел низшим рядам общества, провинциалкам гостиных, не унижало княжны пред мужчинами; никогда принужденность движений, слов, взглядов, поклонов не портила того, что было в ней истинно прекрасного; а потому, не подстрекаемая этой допотопной склонностью своего пола, она являлась в свет с естественным расположением души и не умела скрыть, что ее воображение поражено чем-то. Свет не простит естественности, свет не терпит свободы, свет оскорбляется сосредоточенной думой; он хочет, чтоб вы принадлежали только ему, чтоб только для него промащивали свое участие, свою жизнь, чтоб делили и рвали свою душу поровну на каждого... Заройте глубоко высокую мысль, притаите нежную страсть, если они мешают вам улыбнуться, рассмеяться или разгуститься по воле первого, кто подойдет. Свет растерзает вас, и он терзал княжну. - Как она имеет дух показываться? - говорили матери, снаряжая доче-

рей на вечер: - По крайней мере не давала бы виду, что эта история была за нее, - замечали мимоходом почетные барыни во время торжественного шествия к зеленым столам. - Оба убиты на месте. Вы знали ...-на, что был адъютантом у графа \*\*\*? Какой милый человек! Я, право, услышавши, сама расплакалась о нем; а как жалок его дядя! Мне пишут из Петербурга, что он совсем потерялся, точно помещанный... - так па одном бале шептала своей пожилой соседке важная особа, похожая на картину, вставленную в золотую раму, а написанную рукой суздальского живописца. - У меня сердце обливается кровью, когда я ее вижу, продолжала она, занимаясь все княжною, которая цар ствовала над мазуркой, и не оглядывалась назад, чтоб не видеть своей дочери, которая сидела как опущенная в воду. - Ей век не замолить этого греха! - прибавила пожилая соседка с постепенным одушевлением в голосе, потому что женский суд всегда идет crescendo. - А другой, кажется, только что был пожалован в офицеры... Такой молоденький! Мудрено ли, что она вскружила ему голову! Приехал повидаться с матерью! Вот

несчастный случай! Верно, она не переживет... О дяде адъютанта вам пишут?.. Да если б она была моя дочь, да я не знаю, что б со мной было! Я бы ума лишилась! - Могу вас уверить, что убит один, - сказала молодая дама. Между тем юность с прекрасными глазами и с теплым сердцем смотрела на княжну не так сурово: несколько за висти и много удивления кружилось около нее. Заманчиво быть причиною дуэли, приятно заставить умереть или убить - это к лицу женщине, это по душе ей. - Она решительно влюблена, - говорил гвардейский офицер, роняя себя на диван в одной из комнат, отдаленных от залы. - Я не замечаю, - протяжно возразил камер-юнкер, по правляясь перед зеркалом. Он танцевал мазурку с княжною. - Я не узнаю ее... - Зачем же вы хотите приписывать любви небольшую перемену?.. просто огорчение... да, кажется, и молодой человек, которого теперь общее мнение навязывает княжне, не имеет таких достоинств и блеска, что б уж совсем околдовали ее! Самая дуэль... - Что ж дуэль? - сказал гвардейский офицер, выпрямляясь на диване. - Он уклонялся от нее - правда,

а адъ ютант и обрадовался, думал, что напал на труса. - Да, струсил, - перервал другой военный, входя громко в комнату, - рука дрогнула, и в пятнадцать шагах пуля попала только прямо в середину лба... - О, я очень далек от того, чтоб называть его трусом: жаль, что это может кончиться неприятностью! Дядя покойника не оставит этого так: дрались без секундантов... - Неправда! неправда! Ох, эти дяди! - отвечал с живостию военный, повертываясь проворно к дверям навстречу прекрасному строю девиц, которых причудливая прогулка завела нечаянно туда, где мужчины отдыхали от света залы, глаз, от танцев и разговоров мазурки. Все эти обвинения, приговоры и догадки перебежали из уст в уста, но на почтительном расстоянии от княжны; не отдалили от нее ни одного поклонника и не отняли первенства на роскошных выставках невест. Одобрения, похвалы не могут вывести иную вперед из толпы, затененной природою и случаем; не могли порицания, клевета, вся настойчивая злость людей стереть румянца княжны и лишить ее наследства. В пестром букете балов она оставалась средним цвет-

ком, и когда не было этого цветка, то букет терял прелесть радужных отливов и благоухание моды. Впрочем, несмотря на кучу приглашений, она выезжала реже прежнего, и если б не увещания отца да другие деспотические отношения света, то, казалось, заключила бы себя охотно в четырех стенах на всю зиму, длинную, неизмеримую для того, кому хочется весны и в деревню. Сколько законных отговорок находила она, чтоб остаться дома, сколько раз болела у нее голова, сколько раз забывала заказать платье, как часто не в чем ей было ехать!.. Но ни разу не забыла, в какой день отходит почта в Тульскую губернию. Тут накануне садилась писать, погружалась в занятие с заботливостью, с робким умилением: в ней обнаруживалась борьба искренней печали с поддельной веселостью, как будто рука ее подбирала слова, в которых сомневалось сердце, как будто язык лепетал утешения, которым она не верила. Эти письма бывали всегда адресованы к Наталье Степановне. От нее княжна получала также каждую почту большие поедания, упитанные материнскими слезами, и, расстроенная, прибега-

ла тотчас к отцу и бросалась к нему на шею и спрашивала: "Писали ли вы, папенька, в Петербург?" - "Писал, мой друг", отвечал он всякий раз, надевая очки, чтоб прочесть письмо Наталии Степановны. В этой переписке, в этих необходимых угождениях свету, в этих вопросах и ожиданиях ответов из Петербурга дожила княжна до весны. Торопилась на берег Красивой Мечи, уговаривала отца, как однажды утром, незадолго до отъез да, позвали ее к нему. - Бедная Наталья Степановна! - сказал он, бросая на стол распечатанный пакет. Княжна вздрогнула, ее щеки загорелись, и сердце заби лось всем могуществом молодости, всю бурю женской чувствительности.

## V

Страшную перемену нашли они в матери корнета. Ее лета не перевалились еще за эту отвратительную границу, где нет более перемен; где душа погребается под развалинами тела, немая, неспособная подрумянить пожелтую кожу, положить на нее новое клеймо размышлений, страданий или радости; за эту границу, за которой признаком жизни остается какая-нибудь привычка - привычка к соба-

ке, к креслам, к воспитаннице. Не было ни корнета, ни адъютанта. Только Андрей Степанович являлся к князю по-прежнему свидетельствовать свое почтение и отдавать отчет в наступательных действиях против русаков и красных зверей; да еще полковник не подвергся влиянию времени. Неизменный, как гранит, он пребыл верен своему посту, верен княжне и не без тайного удовольствия встретился опять с нею: поле сражения оста валось за ним. Полковник не переменялся, но все переменяли к нему. Он сделался первым человеком, ненаглядным гостем, предметом общих ласк. Княжна, Наталья Степановна и сам князь, увлекаясь их примером, угождали ему, как должник займодавцу, как бедный друг другу богатому, как писатель цензору. Угождали, но вместе и просили. - Я уверен, - говаривал князь, - что вы, полковник, не отягчите его участи: он будет переведен к вам; его мать истерзала мне сердце; я писал, просил, чтоб по крайней мере ему быть возле нее: она умерла бы... Пожалуйста, полковник, я надеюсь на вас. - Помилуйте, ваше сиятельство, можете ли вы сомневаться? Верно, я сделаю

все, что будет зависеть от меня. Тут князь жал ему руку, а он с гордостью поглядывал на княжну: сладко обещать покровительство при глазах прекрасной женщины. Но иногда бывали и тяжелые минуты для полковника - минуты, с которыми не умел он справиться: прослезиться неприлично, не прослезиться совестно; словом, он не знал, что делать; боролся между чувствительностью человека и мраморностью солдата, между своим положением и своим саном. В это затруднение приводила полковника Наталья Степановна, когда хватала его за руку и когда ее слезы лились ручьем на форменный обшлаг. Хотя рыдания мешали ей произносить слова явственно, но он понимал, что это мать просит за сына. Княжна отвертывала поскорей голову и выбегала из комнаты. Князь повторял: "Да полноте, Наталья Степановна, успокойтесь"; а полковник сыпал утешения и клялся обещаньями: "Как вам не стыдно, сударыня, мы стараемся все поправить; верно, я для здешнего дома не окажу ему никаких притеснений" и проч. Только у княжны не вырвалось ни одной просьбы, ни од ного намека, по ко-

торому полковник мог бы догадаться, ка кое участие брала она в судьбе того, за кого ходатайствовали, как хотелось ей перешагнуть черту приличия и плакать самой за молодого человека. Женская сметливость учила ее, естественная хитрость шептала ей: не проси, не напомни чайного столика, не напомни, что когда-то корнет затирал полковника. Он все сделает для тебя: он назначит парад, угодит музыкантами, пройдет церемониальным маршем, с одним полком бросится воевать вселенную; но если вмешается самолюбие, защекотит ревность... и княжна с неподражаемым искусством разыгрывала роль, добродетельную по цели и грешную по средствам. Так грех и добродетель путаются на земле, так женщин клянут за притворство и пятнают за откровенность. Полковник выдавал себя за смертного охотника до просвещения, до книг, а пуще до запрещенных стихов, и княжна снабжала его книгами, слушала стихи, которыми любил он роптать, шуметь, разгорячаться в ее присутствии, просила вписывать в ее альбом. Полковник уверял, что страстен к музыке, и она просиживала вечера

за фортепьянами, доставляя ему случай восхищаться, вертеться и божиться всем, что ни есть святого, что он ничего не слыхивал лучше. Полковник любил обедать у князя, и она спрашивала всякий раз: "Вы будете к нам завтра?" Он иногда, подделываясь к женскому вкусу, погружался посвоему в разложение нежных чувств, тонких оттенков, в анатомию сердечных болезней - и княжна опускала глаза: черные ресницы прятали стыдливый или насмешливый взгляд, и легкая двусмысленная улыбка налетала на уста. Он часто к исходу дня, к сумеркам, к этому часу, когда язык приговаривается, голова тупеет и заносится в какую-то пустоту, где нет ничего, что б можно ощупать или на что опереться, он часто молчал, посматривая на свою со беседницу, на потолок, на степы, на небо в открытое окно, не попадетс я ль мысль, не навернетс я ль слово... и княжна начинала поскорей хвалить погоду... Но как передать эту вкрадчивую внимательность, эту благородную лесть, этот мир тонких, мелочных, бесчисленных соблазнов, которые наслала она на простую душу воина, чтоб он не закипел жаждою брани и прилас-

кал того, кому береглись все искренние ласки ее сердца? как передать это обольстительное умение стянуть кстати перчатку с руки, выдвинуть ножку, дать заметить, что видят вас издали, бросить вам мельком при всех меткое слово, таинственный намек на вашу любимую мысль, на вашу любимую слабость, на вчерашний разговор с вами?.. что есть уклончивого в женском нраве, что есть блестящего в женском уме, что есть неисповедимого в женской прелести - вся эта отравка, которая всасывается в сердце мужчины, когда вздумается красавице употребить его средством для сует самолюбия, для мщенья, для добродетели... все это счастье, о котором мы бредим, эта цель, которую шарим по углам света, все слилось в какойто очаровательный призрак... новый, не виданный полковником на самых великолепных парадах, в самых славных делах. Никогда не вздевал он эполет и не развешивал крестов с таким удовольствием, как теперь; никогда не становился перед полком с такой непринужденной гордостью, и при криках "вольно" или "смирно" никогда не бывало в его голо се такого оду-

шевления. Полк и кресты явились ему в другом виде, но более соблазнительном. Темное, инстинктивное чувство, заглушаемое обыкновенно мечтами о качествах, ко торых нет у нас, вероятно, докладывало ему, что носить георгий, кричать на две тысячи человек - это было его единственное право на руку княжны. Он перелистывал мысленно историю своей храбрости, конечно, уже не оттого, что она всякий раз, бывало, доводила его до непременно генеральства, - нет, теперь эта история оканчивалась другою надеждой - мысль: "мне не откажут" привязалась одна ко всем воспоминаниям, похороненным в столбцах послужного списка, и сделалась лучшим итогом службы. Но не только его честолюбие приняло новое направление, княжна произвела перемену даже в его светском обращении. Надобно было видеть полковника, надобно было следить, как он мало-помалу становился красноречивее, развязнее. Отрывистые слова начали вязаться между собой и разрастались в Круглый разговор. Уже при каждом слове он не поглядывал по сторонам, лоя па лицах одобрение и стараясь передать

другим свой смех, свою улыбку, которыми новобранец гостинной прикрывает обыкновенно щекотливую робость, беспрестанные сомнения и раздражительную недоверчивость к самому себе. В его движениях не так уже было заметно желание рисоваться, щеголять всяким шагом, всяким поворотом головы или стана. Полковника окружили свободой, дали ему простор, занимались им, и он стал откровеннее, смелее, приятнее. Он не входил уже в гостиную с прежним мнением, что там следует быть не таким, каков он есть; гостиная не представлялась уже ему страшным судилищем, где смутитесь вы перед равнодушием правосудия, где иногда скользнет по вас чей-нибудь взгляд, но заставит поправиться, где иногда станут слушать вас, по с осторожным или рассеянным вниманием, и где обдадут холодом все, что вы заготовили в глубокомысленном уединении и чем надеялись отличиться. Короче, полковник получил эту счастливую уверенность, которая внушает смелость пускать слова по произволу мысли, не воздерживаясь, не охорашиваясь, и нередко внутренний жар оживлял безыскусствен-

ность его выражений, и нередко княжна, боясь формального объяснения, торопилась найти предлог, чтоб перервать разговор. Впрочем, любезность его не дошла еще до невыносимой обольстительности, потому что когда княжна уходила от него и бросалась в своей комнате на диван, то у нее вырвался из груди тяжелый вздох отдыха, между тем как на лице обнаруживалось беспокойство, раздумье о том, что не слишком ли уже баловали полковника. Прежде ей не приходило и в голову, что он может мечтать о руке ее; теперь это казалось в порядке вещей, и она вздрагивала при мысли о решительном предложении... Но это предложение, это объяснение в любви - это были фурии-мучительницы полковника, это были призраки, которые встречали его у постели и утром и вечером, становились в рядах солдат, маршировали на ученьях и, как полковые знамена, не покидали его. Как предлагают руку и сердце? как говорят: люблю вас? как это сказать? как осмелиться сказать, и кому же? Княжне!.. Она так нарядна, так знатна, так страшно окружена всем великолепием приличий. "Упасть к ее

ногам, - думал полковник, - но это, кажется, не водится, это нейдет к моему росту и летам; сказать просто, не падая на колена, как-то холодно, затруднительно; написать письмо, но к княжнам писем по-русски не пишут; открыться князю, но она осердится, что я не спро сился у нее"; словом, что ни задумывал полковник, все бы ло неловко. Подчас, гуляя с княжной по саду, он разгорал ся жаждой приступа, чувствовал, что волна храбрости мчит его к цели, и облакал уже умственно свою речь в законные формы вступления и готов был произнести торжественно: "Ваше сиятельство!.." Но вдруг замирал, вдруг один взгляд, одно слово княжны то пугало его неприличием, то перебрасывало из настоящего в прошедшее, от любви к похо дам, на край света, под Лейпциг, в оркестр полковых музыкантов или к огромному дубу, замечательному по своей дряхлости, или к Наталье Степановне, которая прохажива лась, задумавшись, по уединенной аллее... и полковник тот час догадывался, что теперь не время, нехстати, лучше в другой раз. Эти мучения прекратились наконец; он отменил личное объясне-

ние, не столько потому, что княжна почти не оста валась с ним одна, сколько потому, что ему блеснула счаст ливая мысль. Беспрестанно повертывая один и тот же пред мет, можно открыть в нем полезную для нас сторону. Пол ковник был вне себя от открытия, отдохнул, успокоился. Наталья Степановна объяснит ся за него с княжною, а На талью Степа новну попросит ее сын. Таким образом, и сам полковник ожидал его с удиви тельным нетерпением.

## VI

Полковничья квартира в богатом селе была по возм ож ности возведена на степень удобного жилья и приноровлена к потребностям постоянного пребывания; однако ж разные полугородские украшения не отнимали у нее походного, поэтического вида. Стены были завешаны коврами, пол уст лан также ковром, ширмы отделяли спальню, то есть постель, от кабинета, или приемной; а у небольших окон но вые рамы. с цельными стеклами, задернутые зелеными занавесками наподобие стор, показывали, что нет ничего не возможного на свете. Французские и турец-

кие пистолеты, черкесская шашка, два-три кинжала и образцы киверов, ранцев, сум занимали место картин. В одном углу стояли знамена полка, в другом солдатское ружье; под знаменами шпага арестованного офицера. Наконец беспорядочная группа трубок, бисерный кисет, "Воинский устав", "Рекрутская школа", "Краткое наставление о солдатском ружье" и табачная атмосфера - все это одело большую горницу зажи точного крестьянина по военной форме. Только с некоторых пор между признаками временного привала, строгой службы и неизнеженных бивачных привычек вкрались кой-какие предметы роскоши, приличные столичному слабодушному щеголю. Так, например, на столе, где лежали полковые ве домости, "Военный журнал" и другие дельные бумаги, тут же почти без смены стояло зеркало, а возле него какой-то переводный роман, взятый у княжны, несколько ножниц и ножен, духи в хрустале, французская помада в фарфоре и прочие изящные мелочи туалета, необходимые для истинной любви девятнадцатого столетия. Что делать?.. Полковник не стригся уже под гребенку, не

оставлял бакенбард на произвол ветра и пыли, а старался соединить женоподобные прелести статского наряда с суровым блеском военного; позволял себе, отправляясь к князю, выставлять из-за чер ного галстука воротнички, чистые, как серебро; расстегивал мундир, и белый жилет его всегда бывал бел, и золотая цепь от часов пригонялась таким образом, что вместе с орденами не вредила впечатлению целого. Что же касается до прежней благоразумной экономии в носке эполет, то эту статью полковник вычеркнул вовсе из устава о своем гардеробе. Он пил чай и курил трубку, сидя перед зеркалом, как однажды утром вошел к нему полковой адъютант и, подавая распечатанный пакет, сказал: - Прислан из гвардии разжалованный по суду в солдаты за убиение на дуэли. - А, прислан! - перервал полковник, вскочил со стула и схватил весело бумагу. Его радость ручалась за ласковый прием несчастному; он не даст ему почувствовать неизмеримости расстояния, на которое так быстро раздвинули их, и протянет добродетельную, хоть всегда тяжелую руку помощи... - Это тот, что прошлого года, го-

ворили, женится на княжне, вот вашей знакомой... Косо посмотрел начальник на подчиненного и продолжал читать... - Да теперь уже не женится, - прибавил опрометчивый адъютант и лукаво улыбнулся, чем довольно удачно выразил презрение к одному и лесть другому. - Да где же он? Покажите мне его. Адъютант отворил дверь. Без галстука, в сюртуке без эполет, в полном беспорядке власти, полковник взял чашку, с торжественной беспечностью взглянул на дверь, поднес к губам трубку, затянулся - и сел. Ему напомнили, что корнета считали женихом княжны, напомнили корнета рядом с княжной, и просьбы князя, материнские слезы, собственные выгоды уступили вспышке самолюбия. Это была минута, когда сильный хочет показаться слабым в величественном спокойствии древней статуи или в оскорбительной, небрежной неге; когда готовится делать вопросы и смотреть в сторону; минута, когда полковник говорил: ты. Солдат вошел. Может быть, ощущение его, как он переступал порог, не должно сравнивать ни с чем, а оставлять особо, на той уединённой высоте, куда оно занесено

врожденной гордостью человека: это не отчаянье, не нищета, не ревность; это что-то неприятнее нищеты и язвительнее ревности; это какая-то пронзительная нота, которая не гармонирует ни с одним страданием. Солдат вытянулся, промаршировал и проговорил: "Честь имею явиться к вашему высокоблагородию..." Но движения его были красивы и свободны, а голос тверд. На лице не было ни просьбы о пощаде, ни страха, ни унижения. Это был тот же корнет. Та же краска молодости, что в иные лета продолжает цвести над всяким несчастьем. Только солдатский мундир придал ему мечтательную прелесть. Мысль о бесприютности, о необходимой и безмолвной жертве общества, о том, кто идет за смертью, куда глаза глядят, не спрашивая, где его отец, жена, де ти, - эта мысль облагородилась образованным взглядом. Полковник не смутился, не заметил опасного, заманчивого соединения этого взгляда с этим мундиром... он увидел мерный шаг, вытяжку, и пугающее воспоминание исчезло! Судьба покинула корнета далеко от княжны, солдат не может быть соперником, - и рассудок взял

верх над мелочным чувством, и сострадание к ближнему, которого мы не боимся или в котором имеем нужду, смягчило жестокость величия. Полковник встал и с важностью начальнической ласки, с явным желанием осчастливить человека опустил руку на плечо солдату: этот покраснел. - Здравствуйте! Мы с вашей матушкой ждали вас давно. Мне очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить по-нашему. - Тут полковник обернулся к адъютанту: - Держать его в штабе. - Благодарю вас за ваше снисхождение, - сказал солдат. - Все поправится, молодой человек; вы можете видаться с матушкой, когда хотите, только... Полковник взглянул на адъютанта, как будто ему не приятно было, что есть свидетель следующих слов: - Только я вам не советую показываться у князя; оно бы и ничего, да у него много бывает, чтоб, знаете, не дошло... для вас же лучше. Он произнес это со всем простодушием дипломата. Несколько времени продолжался затруднительный для обоих разговор. Полковник завел речь об обстоятельствах дуэли, пожимал плечами, обвинял убитого адъютанта, потом

шутливо заметил, что сукно на мундире у солдата слишком тонко, потом спросил с громким смехом, умеет ли он делать налево кругом; а когда этот выставил правую ногу, полков-пик сказал скороговоркой: - Без формы, без формы... отправляйтесь, куда вам надо. Солдат (я стану называть его, как у солдат водится, по прозвищу: Бронин; обыкновение, которым они опередили гостиные, где уже потому необходимо говорить иногда по-французски, что нет возможности упомянуть имя и отчество или времени выговорить их, - отчего выходит, что всего лучше разговаривать по-русски с князем, графом и бароном)... Бронин оделся во фрак и поскакал к матери.

## VII

Это было самое ясное утро; легкий ветер колебал Красивую Мочь, и миллионы золотых пятен, рассыпанные солнцем по ее поверхности, блестели, дрожали, ослепительно перескакивали с струи на струю. Он не нашел Натальи Степановны дома: она была в де ревне у князя. Тут Бронин почувствовал на себе тяжелую ношу совета, который должно считать приказом, подозревал, почему не велено

ему показываться у князя; но нетерпение утешить нежную мать превозмогло подчиненность. Он, верно, никого не найдет там... легко скрыть от полковника... к тому же можно ли ему испугаться страшилищ благоразумия и в это утро, в этот час, в это мгновение не броситься к той, кто первая приветствовала улыбкой новый мундир молодого офицера и раскрыла перед ним все легкие, увле кательные подробности гостиной, все счастье образованной суеты. "Как она встретит меня, я во фраке, я солдат?" только эта мысль мучила Бронина. Князь принял его радушно, с большей внимательностью, чем прежде, и осыпал надеждами на прощение. Мать схватила обеими руками за голову и стала целовать. - Матушка, вы, право, стыдите меня, целуете, как ре бенка, - сказал он, и глаза его наполнились слезами. Но княжны не было в комнате. Известие долетело мигмом до ее уборной. Приколите же, княжна, к поясу самую свежую розу; киньте же поскорей в зеркало самый любопытный взгляд; бросьте поскорей на несчастного палящие лучи восторга, прохлажденные состраданием и скромностью... Проворно по-

дошла она к дверям и остановилась так, что нельзя было отгадать, чего ей хочется, идти или остаться. Прямая небрежность в тонкостях туалета показывала, как она то ропилась, но рука ее несколько раз прикасалась к дверям все не за тем, чтоб отворить. Только теперь она вспомнила, что они расстались, как расстаются в свете, после нескольких упительных бесед, не сказав друг другу ничего решительного. Кого увидит она? думал ли он беспрестанно о ней?.. Ей не нужно более этих стройных, вкрадчивых слов, приносимых к ногам прекрасной женщины на крыльях остроты, ума и удивления, не нужно пленительной светскости офицера, для кого год тому назад пробудилось ее чувство, это невольное чувство, подобное капле дождя, которая летит с неба и сама не знает, на какой цветок упадет!.. Теперь дайте ей всю важность, всю святость, всю глубину любви, заплатите за слезы, за память, за полковника, за эту беспредельную нежность женской фантазии, которая рисует несчастье в чудных формах, то с гордым взглядом, то с чистой, младенческой душой, и переносит солдата в несбыточный

мир равенства; заплатите за эту способность привязываться к несчастью, которая не помнит ни ваших заблуждений, ни ваших злодейств: видит только конец их и оторвет женщину от великолепной жизни, от друзей, от родных и поведет за вами в Сибирь, на край света, повсюду, где только можно умереть за вас... способность, которая лучше женских стихов, женской прозы, лучше пера герцогини Абрантес, Дельфины Ге и причудливой мисс Тролопп! Князь, не желая, вероятно, быть помехой свиданью ма тери с сыном, оставил их наедине, а она тотчас же отпра вилась делать распоряжения и хлопотать, как бы его квар тиру в штабе нарядить приличным образом, то есть напол нить всем, что пойдет солдату. А потому, когда княжна в прекрасной нерешимости роняла легкую кисть своей руки на бронзу дверей и задумывалась и возвращалась взять платок или перчатку, - Бронин был уже один. Он стоял у окна и смотрел сквозь длинный ряд комнат туда, откуда следовало показаться княжне, а иногда взгля дывал на дорогу, по которой приезжал полковник. Все, что окружало его, сохра-

нило прежний вид веселой роскоши и могло бы потешить воспоминанием о резвом офицерстве. Огромная этажерка была по-прежнему уставлена теми же китайскими куклами: китайцы сидя, стоя, согнувшись, с зон тиками и без зонтиков! Один с сломанным посохом, одна с отбитой ножкой - особенные любимцы корнета, безответные жертвы, заклеянные забавой сильного, - отделялись от всех своей обвинительной наружностью и доказывали не сомненными уликами, как он, бывало, любил рассматривать их, как смеивался над ними, как, в жару приятного непо стоянства, опрометчиво повертывался к княжне и ставил не счастливых не глядя, куда попало, без всякого уважения к ки тайской старости и красоте. Теперь он не удостоил их ни одним взглядом и едва прислонился к этажерке спиною. Корнет двадцать раз обошел бы эту богатую гостиную, двадцать раз остановился бы перед картиной, вазой или бюстом, перебрал бы все изящные безделки и каждой подарил бы секунду этого скользкого, судорожного внимания, с которым человек бросается на всякую мелочь, когда один, посреди неоду-

шевленного великолепия, ждет чего-нибудь и хочет рассеять нетерпеливую тоску и ищет доски спасения на неизмеримом море ожидания... Но солдат стоял спокойно. Несчастье сковывает тело и его быстроту, гибкость, волнения переносит на душу. Солдат не подступился ни к чему, потому что не было на нем этих эполет, разорваны были эти нити, которые связывали его с фарфором, бронзой и мрамором. Отнимите у человека блеск, суету, возможность суеты, и ему или опротивеют до ненависти прихотливые выдумки роскоши, или покажется слишком мелкой эта наружная отделка жизни. Он станет допрашивать ее, что в ней есть независимого, тайного, загроможденного миллионами условий и очаровательными тонкостями общежития? Где у нее эти приметы, полученные ею при рождении от творца, которые не должны были полинять под румянами образованности? Где эта мысль, это чувство, эти лучи сердца, способные осветить ее голую и холодную пустыню? Наконец, где эта любовь, которая кажется ложью корнету, когда он блестит на паркете, и истиной, когда наденут на него лямку

солдата? Он ждал княжны, но княжны, похожей на его судьбу; он отнял бы у нее титул, сорвал бы дорогой браслет, нарядил бы в смиренное платье деревенской затворницы, чтоб только как-нибудь приблизить ее к себе, перенести из сложного, ослепительного света в простой и дикий мир солдата, чтоб газовая лента или слишком живописный локон не помешали слиянию сердец, не напомнили огней, вальса... Вот почему Бронин стоял спиной к китайским куклам и почему княжна застала его в таком несовременном состоянии души, что он восставал даже на поэзию женского наряда, настраивал людей, предметы, прекрасную женщину под лад своему мундиру и, может быть, верил обветшалому предрассудку, что для счастья надо хижину и сердце! Княжна встретила его как женщина, которая боится оби деть мужчину состраданием и не любит, чтоб он нуждался в нем. Если отец очень внимательным приемом, излишеством учтивости не достиг вполне своей доброй цели и дал Бронину почувствовать несколько разницу двух мундиров, то дочь поступила тоньше. Она проникла в тайну, не

разга данную умом. Ее веселый взгляд, ее ровное обращение слили в одно корнета и солдата, счастье и беду. Только все он не мог сначала освободиться от застенчивости, едва приметной, но всегда привязанной ко всякой неудаче, ко всякому невыгодному последствию хоть даже самого благородного дела. А потому разговор между ними пошел сперва по своим обыкновенным ступеням, и поэзия сердца уступила пер венство деспотическим приемам общежития. - Я стою здесь на часах и караю полковника, - сказал Бронин с улыбкой после нескольких фраз и нескольких промежутков молчания. - Я прикажу смотреть его; скажут, как он поедет. Княжна позвонила в колокольчик. - Верно, ему так приятно у вас, что он не хочет разделить этого удовольствия ни с кем? - Папенька и ваша матушка избаловали его. Бронин подошел к княжне, сел возле нее и загляделся на ее руку, которая играла колокольчиком. - Он мне запрещает бывать у вас, матушка советует, чтоб я слушался его; неужели и вы станете мне тоже со ветождать? - Папенька всегда бранит меня за неблагоразумие, отвечала княжна. Чер-

ные ресницы закрыли выражение ее глаз, солдат вспыхнул, и потом разговор оживился. - О, если вы так помнили нашу деревню, - сказала она Бронину, перерывая его одушевленный рассказ о прошлом времени, о первой их встрече, - не должно ли мне принять ваши слова за упрек, от которого я перед вами не буду уметь защититься? - За упрек, княжна? - Папенька говорил тогда, что я была причиной...- Она наклонила немного голову и, растягивая кончик носового платка, стала прилежно рассматривать его. - Может быть, вы беспрестанно думали, что без несчастного знакомства с нами, с бедным адъютантом ваша матушка не пролила бы столько слез?... Ах, ради бога, облегчите мою совесть... вы обвиняли нас? - Будьте, пожалуйста, покойны. Неужели вам кажется, что нет в жизни этих сладких минут, которые перевешивают всякое несчастье? Неужели вы думаете, что нет этих приятных воспоминаний, которые отнимают силу у настоящей беды? Я помнил вашу деревню, но затем, чтоб забывать все другое; я страдал, но только оттого, что не смел надеяться быть опять здесь, в этой комнате,

возле вас... Бронин заглянул нескромно в лицо княжне: она, не под нимая головы, не сделав ни малейшего движения, обернула на него полный, внимательный взор с вопросом, который требовал еще уверений, еще более ясности, необходимой для прихотливых, бесчисленных, вероломных сомнений женского сердца... В это мгновение двери растворились, и человек доложил проворно: - Полковник едет. Оба вскочили с мест; но вдруг Бронин, вероятно, пристыженный боязливой торопливостью, сел опять в кресла так смело и так решительно, как будто не хотел никогда вставать с них, - Ради бога уйдите! - проговорила спокойно княжна, подходя к нему и взглядывая в одно время на него, на дверь и на окна. Она измерила разом всю бездну опасности; она призналась себе тут, что в обращении с полковником переступила невольно за границу добродетельного расчета и поддавалась извинительному желанию: потешиться жертвой своей красоты. - Ради бога уйдите! - повторяла она с умиленной тревогой. - Вот, княжна, самая ужасная минута, - сказал Бронин угрюмо, начиная колебаться между

гордостью и зависимо стью. - Как неприятно прятаться!..

### VIII

- Его простят, - говорил князь, погружая после обеда тяжелое тело свое в вольтеровские кресла. - Помилуйте, его простят!.. не было примеров, - резал полковник, встряхивая сияющие эполеты. - Его простят, - шептала про себя Наталья Степановна, застегивая поздно вечером крючки молитвенника и по сматривая на иконы, слабо освещенные лампадой. "Его простят", - думала княжна утром перед зеркалом, в сумерки за фортепьянами и в полусонном забытии на по стели. Но, недовольная одною этой мыслью, она прибавляла к ней другую, чтоб прожить заранее несколько мгновений этого полного счастья, которое в женской голове всегда слаживается так стройно и так хорошо! "Папенька согласится", - прибавляла она. А потому это го прощения ей хотелось так сильно, так нетерпеливо, так молодо, что едва ли чувство самой матери, более благого вейное, более тихое, не уступало ее деспотическому чувству. Но по странной несообразности она украсила суровое

звание Бронина всеми розами воображения, так что, казалось, офицерский мундир только отнимет у него какуюнибудь прелесть, а ни одной не прибавит. Если мужчина любит унижить женщину до себя, то женщина всегда возвышает его над собой и над целым миром. В нем видела она не грубого солдата под серой шинелью: для нее это был солдат романсов, солдат сцены, солдат, который при свете месяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей милой; это был дезертир, юный, пугливый и свободный; увлекательно прелестный простотой своего распахнутого театрального мундира, с легко накинутой фуражкой, с едва брошенным на шею платком; для нее это был человек, разжалованный не по обыкновению ходу дел, но жертва зависти, гонений, человек, против которого вселенная сделала заговор, и княжна вступилась за него и взглядывала так гордо, так нежно, как будто столько любви у нее, что она может вознаградить за ненависть целого света. Словом, в нем был только один недостаток. Этого не уме ли уже исправить ни ее сердце, ни ее воображение, и для это-

го-то нужен был прежний мундир. Спокойствие, блестящую будущность, добрую славу, самое жизнь она отдала бы ему, да как отдать руку?.. Солдату нельзя ездить в карете!.. Припишите это порочному устройству обществ, прокляните обычаи людей, но согласитесь, что есть ядовитые безделки, на которые не наступит ничья нога и о которых можно без греха помнить в самые небесные минуты на земле. Впрочем, солдатский мундир так ей нравился, что од нажды она спросила у Бронина: зачем ходит он во фраке? Была ли это женская прихоть, нежность, или княжна хотела от него полного признания, как в словах, так и в одежде, во всем, что обыкновенно считается унижительным и что одна смелая откровенность может облагородить? Во всякое Другое время и от всякой другой женщины солдат принял бы такой вопрос за упрек в малодушии, но между ними не было уже разделяющих чувств. Он услышал это наедине с княжною, в саду, когда она позволяла уже ему высказывать всю необъятность счастья быть с нею наедине. Эти прогулки оставались непроницаемой тайной для пол ковника. Хо-

тя князь, узнав сперва о приказании, полученном солдатом от начальника, закричал: "Вздор, вздор, я ему скажу"; но дочь остановила отца и убедила, что не надо противоречить полковнику, когда он довольно добр и когда нет никакой особенной причины настаивать на бесполезном позволении. Скрывая свои свидания с Брониным от одного, она не всегда доводила их до сведения и других, так что эти невинные прогулки прятались иногда от самого князя и от всех в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности, освещенные мирно прекрасными глазами, робким румянцем и волнуемые только невоздержными порывами влюбленного мужчины. Это были минуты искренности, к которой рвется возвышенное сердце и за которую княжна платила дорого, потому что полковник не прекращал почти ежедневных посещений и, считая себя благодетелем Бронина, сделался еще более заносчивым. Он не знал, что делалось с княжною, когда ей докладывали о его приезде, и каким образом она всякий раз произносила "что?", не расспрашивая у человека неизбежную и слишком внят-

ную вестъ; было от чего полковнику проклясть жизнь свою, если б он услышал это "что" и увидел его на лице княжны. Наступило утро, в которое опасный соперник солдата проснулся необыкновенно рано, начал ходить по горнице, ходил чрезвычайно долго и шагал очень широко, так что в каждый конец для его третьего шага недоставало прост ранства. К нему позвали Бронина. Когда этот явился, полковник подошел к нему быстро, схватил его за руку, разрушил ее форменное положение и с полусмехом скомандовал: "Вольно, снимите кивер!" Такой прием мог бы околдовать душу всякого подчиненного, даже и того, кто не был бы отделен от своего начальника ничем по наполненной бездной, но в солдате не замечалось ни иступления восторга, ни торопливости усердия. Спокойно он бросил кивер на стул. - Мне нужно с вами поговорить по-приятельски, - сказал полковник, сжимая руку Бронина и налегая с особенным выражением на слово: по-приятельски. - Вы видели княжну? - Встретил у матушки, - отвечал Бронин медленно. - У нас скоро будет смотр, - продолжал полковник, на чиная на-

бивать трубку. - Я представлю вас дивизионному генералу. Бронин наклонил голову. Тут последовало молчание. Полковник раскурил трубку, потом пошел от солдата в другой угол и на ходу, обернувшись к нему спиной, сказал: - Послушайте, поговорите обо мне вашей матушке... - Что вам угодно? - спросил солдат с удвоенным вни манием. - Я уверен, что вы оцените мою доверенность. Я с своей стороны постараюсь быть вам полезным; надеюсь, что ваша матушка не прочь от того, чтоб оказать мне небольшую услугу. Вы знаете, что я часто бываю у князя, и сколько мог заметить, мои посещения не противны княжне... Солдат потянул свой галстук: крючки застегнутого воротника начинали его душить. - Признаюсь, я никогда не был о себе слишком высоких мыслей; но ее ласковое обращение, ее особенная внимательность ко мне... притом же, согласитесь, я полковник, служил... Молодой человек! вы не знаете, что такое служба, вы не в состоянии еще понять, как страстно можно любить службу... ну, теперь она мне в голову нейдет... я прошу вашу матушку поговорить обо мне с княжною и с князем. Краска начала

выступать на лице полковника, и он опять отвернулся от солдата. Этот стоял, опустив глаза и ломая пальцы. Только волне ние, в каком находился полковник, мешало ему заметить, как тяжело слушать и молчать, когда другой смеет намекать нам, что нравится женщине, которую мы обожаем. - Княжна может быть уверена, - продолжал полковник, опуская трубку на пол, опираясь с жаром обеими руками па чубук и становясь более картинным, - что ей не найти такого мужа. Захочет она, чтоб я продолжал служить, стану служить; захочет, чтоб вышел в отставку, - выйду; вздумает жить в столице, в деревне - где ей угодно; мне с нею везде будет так же весело и приятно, как в то время, когда я получил первый крест или когда мне дали полк и я, выехав к нему на учение, окинул его глазом. Но вы расскажете красноречивей, что я чувствую. Я мало вертелся в свете, мой язык привык к команде, вы моложе, вы ближе к женскому вкусу... Тут полковник взглянул пристально и любопытно на солдата, как будто хотел отыскать на его лице опровержение своих слов. - Или я ошибаюсь, или мне не

должно бояться отказа. Во всяком случае надеюсь, что ваша матушка согласится быть посредницей: мое счастье зависит теперь от нее. Он подошел к солдату, опять взял его за руку с большим чувством и через секунду прибавил: - Не худо будет упомянуть между прочим, что мне скоро достается в генералы. Для княжны это, конечно, ничего... по князь... вы знаете, чины еще действуют. - Очень хорошо, я скажу матушке, - отвечал Бронин тихо. Не прошло часа после этого разговора - он был уже в са ду у князя.

## IX

Княжна гуляла и шла к нему навстречу; но, завидя его издали, пошла тише, хотя глаза ее приметно развеселились. - Что с вами? Вы смотрите так насмешливо? - спросила она шутя. - Мой полковник предлагает вам руку и сердце и поручил мне просить матушку, чтоб открылась вам. за него в любви. Он без памяти от того, что очаровал вас. - Ах, боже мой! он теперь догадается и станет мстить вам! - сказала княжна, изменяясь в лице. - О, да как он влюблен! и я выслушал его изъяснение по форме, молча, с начала до конца. Тысячу раз

думал я, что перерву его, не позволю продолжать, скажу, что мне не следует этого слушать, что он выбрал такого поверенного, который не может благородно выполнить его поручения, - но что делать? душа моя присмирела в тисках этого мундира...и он дернул с досадой красный воротник. - Ах, княжна! Как мне в эту минуту жаль стало моих эполет. Трудно выразить ее заботливость, когда начала она перебирать разные средства, чтоб согласить безопасность солдата с отказом полковнику. То хотела сама обратиться к нему, доверить благородству его военного характера и прошептать твердым голосом: "Простите меня, я не люблю вас, я для другого рассыпала перед вами драгоценные камни моей красоты и воспитания". Тут задумчивые глаза ее раскраснелись мгновенно в полном блеске, вспыхивая надеждой на величие души, на самоотвержение. То вдруг эта светлая надежда потухала в ней, как одна из тех ветреных мыслей, которых истину доказывает сердце, но которые слишком дерзки для женских привычек и слишком мечтательны для рассудка. Княжна переходила от чудес жизни к обык-

новенным явлениям и полагала, что отец ее...- она обовьется около его шеи, расплачется перед ним - его связи удержат полковника в почтительной боязливости и не дадут разыграться его негодованию или ревности. Напрасно Бронин силился вырвать ее из этого мира за бот, участия... восхитительного, как доказательство любви, и несколько неприятного, как желание женщины защитить мужчину. Он бросал беспечно свою судьбу на жертву непроницаемой будущности, он твердил ей о настоящей минуте... они сидели рядом... Солнечные лучи, пробираясь сквозь густые ветви деревьев, образовали перед ними стену зелени, унизанную -точками света... Княжна и солдат, два странных наряда вместе... два существа с одной планеты, но раскинутые какой-то мыслью по концам ее и соединенные чувством, которое не знает пространства, не боится расстояния. Долго она не слушала его, долго прибегала ко всем усилиям воображения, чтоб утешить себя какой-нибудь счастливой уверенностью, потом задумалась, потом взглянула на Бронина, как будто утомленная испугом, и ласково сказала: - Боже

мой! зачем вас перевели к нему в полк? - Он схватил ее руку в первый раз, прижал крепко к губам... Она покраснела, но оставила руку на произвол любви, и ветер накинул широкую ленту ее пояса на колени к солдату... Между тем растревоженный полковник вышел из своей квартиры. Его замыслам стало душно, его чувству нужно было и прохладу воздуха и простор неба. С дороги сбивался он на тропинку, с тропинки на пашню. Он шел скоро, как будто догонял свои мысли, которые все опережали его. Он шел бог знает куда, а очутился, усталый, перед домом князя. Войти или нет?.. Полковник не будет уметь сохранить должного спокойствия!.. Не лучше ли дожждаться ответа?.. Да, нет ничего приятней, как перед решительной минутой подмечать самому этот ответ, делать догадки о наступающем блаженстве по разным пустякам гостиной!.. И потом, чем наполнить пустоту времени? Куда бежать от сомнений?.. Он вошел. Князь был на охоте. В передней никого. Почтительно прокрался полковник до одной комнаты, из которой окна выходили в сад. Никто не попадался ему навстречу... Счи тая

неприличным атаковать дальнейшую часть дома, он опустился на диван, покойно упругий, обложенный мягкими подушками, обтянутый полосатым штофом, - и расцвел!.. Буря войны, ее голод и холод, кочевая жизнь... как все это показалось вдруг слишком молодо, тяжело, невозможно более для полковника, убюканного негой роскошного дивана! Великолепие строя, чудная выправка и склейка людей, как все это показалось ему хуже, чем мраморный камин, матовые шары ламп, малахит и бронза подсвечников. Полу сонно смотрел он на поясные и миниатюрные портреты княжеских предков, вероятно с таким же чувством, с каким Наполеон думал о родословной австрийского императора, когда сватался за его дочь. Полковник послужил... пора отдохнуть... что в славе, которая спит на сырой земле!.. Какая в том честь, что солдат делает на караул! Ему захотелось отведать барской спеси, причуд богатства, понежиться в объятиях знатности и красоты!.. И почему не лелеять этой сладкой мечты? почему не надеяться на это заслуженное счастье?.. Он дрался храбро, княжна так восхитительно приветли-

ва к нему, помещики с таким подобострастием становятся около него в кружок, сажают на первое место, ждут к обеду, а Андрей Степанович, решительно уверенный, что для полковника нет невозможного, набожно говорит ему всякий раз: "В ваши лета, в вашем чине..." Эти великие и малые воспоминания, это высокомерие, внушенное ему не собственным самолюбием, а ложью общества, злая ошибка других, потому что они смотрели на него в увеличительное стекло; наконец безгрешное, понятное в нем желание палат и сердца - все это отлило его надежды в прекрасную, крепкую форму... и он поднялся лениво с дивана и медленно подошел к окну, чтоб окинуть глазом еще частицу своих будущих владений... Но тут более любви, чем надменности, проявилось у него. Любовь душистая, светлая, беспечная повеяла ему из сада!.. любовь, какой не видывал он в деревенском сарафане, в кормче жида и у мелочных немков. Как нежно поглядел он на эти укатанные дорожки... где будет прохаживаться с своей обворожительной женой, на эти кусты роз, на эти тюльпаны... а там, вдали, глубокая,

темная беседка... там, может быть, много сохронится супружеских тайн... Вдруг полковник дрогнул, лицо его оцепенело, и он при метно вооружался всею зоркостью глаза, как будто поверял дистанцию при построении колонн к атаке... что-то мельк нуло сквозь ветви... что-то похожее на мундир и на женское платье... Он отсторонился от окна, оперся на эфес шпаги, и, я думаю, пальцы его выпечатались на бронзе... это княжна, это Бронин... Нет, полковник, это демон, который принимает на себя все виды, чтоб вырвать нас из области счастья и показать нам жизнь, какова она без украшений, накинутых на нее головою и сердцем человека, жизнь с усмешкой безверия, с отчаянным взором!.. Но белое платье мелькнуло опять, но знакомый зонтик заслонял от солнца знакомые черные во лосы, но красный воротник, но темно-зеленое сукно... В них нельзя ошибиться полковнику... это он, это она... Да, полковник, это он, это солдат, который по твоему слову не шелохнется при тресках грома, не смигнет под грохотом ядер... это солдат, для которого ты отец и мать, жизнь и смерть, и небо и ад... ты обходился с

ним как с равным, так щадил его, ты высказал ему всю душу, а он обманул тебя, а княжна рассыпалась перед тобой для него, а там они смеются над твоей неловкой любовью... Куда ж девалась твоя служба?.. какой же теперь смысл в твоих крестах?.. Все раны Смоленска, Бородина и Лейпцига раскрылись у несчастного полковника!.. Смотри, полковниц,.. он целует ее руку, эту руку, так хорошо освещенную солнцем, что ты отсюда можешь видеть ее белизну и нежность!.. смотри... их только двое... никого нет еще... они давно здесь... оторви его... чтоб княжна не отыскала и следов солдата!.. Но не поздно ли?.. Полковник из понимал, что есть невинные ласки, непроизвольное уединенно... Подозрительно впились его глаза в белое платье, и не бледность, которая грозит смертью, но грубая краска гнева зарделась на его полных щеках... Он воротился назад, к привычкам целой жизни, к своей невероломной страсти, в мир войны, дисциплины и зажигательных звуков барабана! Заблуждение вырвало его из строя и предательски покинуло одного, далеко от княжны!.. Ему пока залось, что они идут к до-

му... он кинулся из комнаты, но вдруг приостановился, страшный, огромный... повернул го лову, бросил еще один взгляд, только не на княжну, не на сгибы белого платья... Он взглянул на солдата.

## Х

Если б вы вбежали за полковником в его квартиру, вам бы представилось одно из этих загадочных явлений, кото рыми душа расстраивает отчетливый порядок наших мыслей, когда от ежедневных, правильных впечатлений переносится внезапно к какому-нибудь впечатлению страстному и, обнаруживая все могущество своих поэтических волнений, дает мертвым предметам что-то живое, сливает их с собою в одну стройную картину. Изба, дворец равно отражают это напряженное состояние души. Этот взрыв ее поднимает все на одну высоту с нею, и вы видите кругом или блеск, или обломки. Полковник курил, но это была туча дыма!.. Дым, выно сясь густыми клубами, вился в кольца, расширялся, тянулся к потолку и растягивался под ним в тонкую прозрачную пелену. Потом прокрадывался и расстилался по стенам, по том бежал, по-

том струился по полу, потом стало ему тесно. В этом аду дыма один угол, освещенный двумя-тремя лучами солнца, оставался чем-то утешительным, чистым, как будто человеколюбие притаилось тут от грозы ожесточенного сердца. Ковры, пистолеты, знамена - все исчезло, только мерцали частицы кинжалов, да виднелись две неподвижные фигуры, два синих, дымчатых лица, да против них сверкали глаза полковника и гремел его начальнический голос. Горячо сердился он на офицеров (это были офицеры) за то, что избавляли солдат от службы. Гнев его разразился в своем полном объеме, как вообще гнев человека, который шумит на безответного, а потому бывает но робко дерзок и не трусливо храбр. - Ни шагу никуда отсюда! - кричал он. - Ужо его на ученье, завтра ко мне в вестовые! Но в этих звуках было что-то дикое, таинственное, как будто они относились к какому-то призраку, как будто полковник искал возле офицеров кого-то другого и на него смотрел и другое говорил ему. "Я стану между тобой и ею... сквозь меня ты не увидишь ни нежной руки, ни ясного дня, ни цветов, ни румянца, ни яр-

кой улыбки... Я покажу тебе только, как бледно может быть лицо, как впалы щеки и как мутны глаза... мне не нужно обманывать, хитрить, кидаться к тебе на шею, жать с восторгом руку; мне не нужно таиться, подыскиваться, клеветать на тебя, стеречь тебя за углом, красться к тебе ночью - ты мой при свете солнца, при тысяче глаз" .....

Ученье шло дурно. Полковник был недоволен до того, что передал свою ярость лошади: вся в пене, она бесилась под ним красиво, только беспокойно несла голову, потому что он беспрестанно затягивал поводья. Особенно же его раздраженное внимание обращалось на беспорядки того взвода, где с полунасмешливой и с полугорькой улыбкой стоял под ружьем Бронин. Там все было не так: люди не ровнялись, фронт волновался, шаг был короткий, вялый, взгляд не быстрый. Замечая повсюду недостатки, без милости при шпоривая лошадь, полковник все озирался в одну сторону, и куда ни переносился - дирекция его огнедышащих глаз не переменялась. - Не качаться, - кричал он, смотря на Бронина,

ровняй его! Фельдфебель потянулся через заднюю шеренгу и слегка дал прикладом толчок солдату. Этот побледнел. В самом деле несносно, когда ученье идет дурно. Оно требует непременно стройности, правильности, как признаков дружной храбрости и единодушия, необходимого для неодолимой силы, составляемой из тысячи сил. Представьте себе быструю точность движения; эти ряды, ровные, крепкие, которые то сплотятся стройно в светлые тучи штыков, то развернутся свободно длинной гранитной стеной, протянутся блистательным лучом! Эти груди вперед, эти дерзкие лица идут на целый мир, эти ноги ступают твердо и поднимаются решительно; представьте себе этот чистый, дружный, отделанный шаг, и вы поймете, что цейронный марш может вас бросить и в жар и в холод. Тут орудия смерти не беспорядочны, не безобразны, тут смерть нарядна, тут то же чувство изящества, то же чувство красоты, но вместе и чувство силы, невозможное для отдельного человека. Теперь представьте, что ученье идет не так, что в нем нет этого согласия, и вы поймете, почему полковник, выведе-

денный, наконец, из терпенья, отправился во весь карьер и прямо перед Брониным мастерски осадил лошадь. - Что это за стойка?.. опустился!.. Господин взводный командир, поправьте его... выпустил колени... плечи ровнее, грудь вперед. Слова начальника произвели пагубное действие: губы у солдата задрожали, но это было единственное проявление жизни на его лице, потому что весь буйный пыл ее, все лучи собрались в глаза. В них все было: и презрение, и ненависть, и отвага, и эта гордость, которую внушает безумная любовь и от которой мы представляем себе весь свет сердцем женщины, хотим везде стоять на первом месте, занестись куда-то высоко, выше всех общественных отношений, всех соперников и выше всякой славы. Но простая команда не могла бы, конечно, привести Бронина в такое раздражительное состояние; вероятно, он по созрел, почему, когда воротился в штаб, потребовали его на ученье. Невыносимо посмотрел он и, забывая свой долг, свою мать, свою княжну, сказал замирающим голосом: - Полковник, не мучьте меня, вам от этого не будет лучше; я говорю, не

мучьте. Штык зашевелился у него на ружье, только движения штыка начальник не видал уже. Лошадь под ним взвилась и отскочила, потому ли, что он не был более в силах править ею, или потому, что не мог стоять под взглядом солдата и толкнул ее. Нарушение дисциплины, на которую опирается общее благосостояние, да тайна полковника, мучительная тайна... да еще: "вам от этого не будет лучше..." - с него было до вольно. Он понесся, вскрикнул дико, и грозное слово разда лось по рядам. У солдата выхватили ружье и сдернули мундир - Полно, брось его, - скомандовал полковник через не сколько секунд с другого конца фронта; потом подскакал к ротному начальнику, махнул полковому адъютанту и скоро проговорил с приметным волнением: - Не высылать его на ученье, не наряжать в вестовые; пусть он делает, что хочет, ходит во фраке, бывает, где ему угодно: оставить его в покое. Что-то похожее на слезу блеснуло у него в глазах; он отвернулся проворно, вонзил шпоры в лошадь и исчез. Возвращаясь с ученья, некоторые солдаты рассуждали между собой о преимуществах толстой рубашки

перед тонкою и приправляли свои слова одним из тех мудрых изречений, в которые воплощается прошедшее: за битого двух небитых дают,

## XI

Смерклось. В одном из самых лучших крестьянских домов, в горнице, убранной, как убирает материнская попечительность, и блестящей этими волшебными безделками, этими подарками на память, которыми дорожит любовь при своем начале, - едва можно было различать предметы, и то от месяца да от тусклой, нагоревшей свечи, поставленной в так называемой передней. На полу валялся солдатский мундир, на нем рубашка, разорванная пополам, сверху донизу, вероятно в припадке бешеного негодования. Павел, старый слуга, каких слуг бо лее нет, не смел ничего прибирать, а робко выглядывал изза дверей и раза два уже обтирал глаза рукавом. Бронин лежал на турецком диване лицом в подушку, шитую по канве княжною. Если б он не поворачивал иногда головы на окно, как будто хотел по темноте отгадать время, да если б еще не пожимал плечами, как будто чув-

ствовав боль в спине, - должно б было подумать, что он спит. Камердинер его и дядька давно покушался войти; наконец пе реступил тихо порог, подкрался к дивану и, помолчав, ска зал унылым голосом: - Вот, сударь, к вам записка; как вы были на... - Он остановился и переменял оборот речи. - Давеча прислала княжна. Бронин протянул руку, не поднимая головы, взял записку, стиснул - и не прочел. Грустно Павел отправился назад, но через четверть часа вбежал в больших торопях. - Барыня, сударь, приехала, барыня! Бронин вскочил, крикнул: "Не говори ей..." - и замер на месте. Казалось, он испугался: иных слез, иных рыданий мы боимся и умирая. Верно, дошло до нее... она никогда не приезжала так поздно... Павел вздел на него проворно мундир, который попался под руку, забросил рубашку, потом внес свечу, и - подарок матери, подарок в день рожденья, драгоценный ятаган за сверкал на стене. Его ножны были уже обтянуты новым зе леным бархатом, золотые бляхи ярко отчищены, жемчуг от мыт, и на месте выпавших камней сияли другие. Павел под нял проворно зонтик у подсвечника и по-

ставил его в углу, подалее, чтоб ни один луч не осветил для матери лица ее сына. -" - Сашенька, друг мой! - кричала Наталья Степановна еще за дверьми, с сильным движением в голосе. Бронин затрясся, и, прежде чем пошел навстречу к ней, его судорожный вздох отвечал на эти звуки, как будто душа, выстрадавшая свою часть на земле, оробела при виде лишнего страдания. Павел провожал барыню, не смея поднять глаз. - Сашенька, ты прощен. При этом слове она кинулась к нему на шею с быстротой и веселостью молодости. - Князь сейчас получил письмо из Петербурга, на днях будет в приказах!.. - Слезы так и катились у нее от радости, поцелуи так и сыпались на щеки Бронина. Может быть, он не устоял бы против рыданий о его по зоре, может быть, он пал бы под материнской печалью, но радость, но насмешка судьбы нашла его немым. Есть же это чувство, которое не принимает в себя никаких посторонних волнений, которого не умеешь назвать, раздробить на оттенки, и - пусть небо прояснится, подует попутный ветер, разыграется парус - тяжелый груз этого чувства все топит ко-

рабль человека. - Поедем, друг мой, поскорей; тебя ждут ужинать; добрый князь зовет пить шампанское!.. Как он рад, а как рада княжна!.. - Тут Наталья Степановна улыбнулась с двусмысленным восхищением. - Да что у тебя так томно?.. - Светло, матушка, - отвечал Бронин, опуская голову на ее руку. - Поедем же скорей... - Нельзя... мне надо видеть полковника. - И, друг мой!.. - Мне надо видеть полковника, матушка, - сказал сын, усиливая голос и взглядывая на ятаган. - Да он, верно, не осердится. Полковник, право, мил!.. Как добро тебе!.. Завтра мы здесь отслужим молебен, и я буду молиться за него. Да что с тобой, друг мой, ты будто не рад? - Рад, матушка, очень рад... - Ай! - вскрикнула она, - как ты сжал мне руку, Са шенька! - и крепко поцеловала сына... Долго отговаривался он. Наконец Наталья Степановна заметила его бледность, и с заботливостью, в которой не было ничего горького, потому что радость покрывала все другие чувства, спросила: - Ты болен, друг мой? Что с тобой? - Много ходил сегодня, устал; да вы не беспокойтесь, матушка: к завтраму это пройдет. Тут поразительна была

странность человеческого сердца: сын испугался, что мать беспокоится о его нездоровье, а между тем безобразный умысел понемногу выступал из души к нему на лицо. Слабое освещение, старость глаз и потом слепой восторг и самая чудовищность, невероятность сыновней беды помешали Наталье Степановне проникнуть тайну или сделать какую-нибудь печальную догадку. Она убедилась, что ему нельзя ехать, что он устал, должен отдохнуть и что к завтраму это пройдет... - Да что ж ты не велишь ничего сказать княжне?.. - Поклонитесь ей, поблагодарите ее. И он опять схватил руку у матери, прижал к губам, и она опять расцеловала его. - Так завтра, мой друг, мы все приедем к обедне! - Завтра, матушка!.. Коляска промчалась - и все затихло; только кое-где по рекликались собаки... - Павел, ложись, я разденусь сам... Прошел длинный час; слышно было, что и Павел спит. Бронин ходил по горнице; то смотрел на окна, то на стены, то не смотрел ни на что. Вдруг подошел к ятагану, дико стал перед ним и впился в него глазами!.. В эту минуту решительно нельзя было узнать в солдате

юного корнета... ни одной похожей черты!.. только волосы, не обстриженные еще по форме и разбросанные в неподражаемом беспорядке, сохранили свой прежний лоск, прежнюю увлекательность... и, несмотря на пугающее выражение его лица, прекрасная женщина могла бы еще взглянуть на их волнистые, роскошные отливы, и томно впустить свои ласковые пальцы в эти густые локоны, и нежно приподнять их, и сладострастно разметать, и вспыхнуть, и обомлеть, любуясь ими. Это были еще волосы корнета. Он снял ятаган со стены... Месяц разделил широкую улицу села на две резкие по ловины: светлую и мрачную... На рубеже света и мрака, на этой черте, где конец жизни сливался с началом смерти, несколько раз появлялась и исчезала тень солдата!.. Но часовой ходил у квартиры полковника... но страх или презрение к самому себе... но что-то останавливает человека, когда он крадется ночью...

## XII

Ударяли к обеду. Был какой-то праздник в селе. Малопомалу высыпали на улицу солдаты, крестьяне и крестьянки. У иного на

шляпе был воткнут за тесьму пучок желтых цветов, у иной в косу была вплетена лента. Многие, идя в церковь, переваливались лениво и не без чувства поглядывали на запертый кабак. Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда жить значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы... наслаждение, не купленное ни трудом, ни деньгами!.. Тихо и светло текла Красивая Мечь!.. Мелкий дождь сквозь солнечные лучи вспрыснул землю, и радуга, как газовый шарф, опоя сала половину прекрасного неба. Вдали мчалась к церкви коляска в шесть лошадей; из нее высывалась нарядная шляпка, вылетал белый вуаль, и некоторые говорили: "Это его сиятельство с дочкой!" Показался и полковник. Выходя из квартиры, он обернулся назад и пасмурно сказал кому-то: "Помирите меня с ним". Потом отправился в церковь, но едва сделал несколько шагов, как с ним поровнялся солдат... без кивера, мундир нараспашку, лицо искажено... левая рука его упала с гигантской силой на плечо полковника... Лезвие ятагана блеснуло

на солнце и исчезло - Ударяли к обедне, но никто не шел в церковь. Огромная толпа стояла тесно и мертво, с оцепенелыми глазами, с бессмысленным любопытством. Движение боязливое, неслышное было заметно только в тех, которые пришлись позади других, а потому тянулись, чтоб полюбоваться невиданной картиной... Несколько офицеров поддерживало голову бедного полковника, и лекарь, обрызганный кровью, зашивал страшную рану. Несколько солдат рвало и вязало убийцу. Бледное лицо его ожило, оно вздрогнуло жизнью, как вздрагивает труп от гальванической искры: румянец заиграл на щеках, слезы полились градом... на паперти оттирали двух женщин... он смотрел туда, и прискорбные, раздирающие звуки: "Матушка, матушка!" - неслись на воздух. Еще слова два прибавлял он, да ничего более нельзя было разобрать, потому что он глотал их вместе с слезами. Через несколько дней глухой, прерывистый бой барабана, обтянутого черным сукном, возвестил похороны полковника. Ружья на погребенья, флер на шпагах - этот смиренный вид оружия, данного в руки не для изъ-

явления тихой скорби; наконец это немое, торжественное благоговение к святыне покойника, выражаемое вполне только послушными солдатами и их печальным маршем, - все заставляло тосковать по умершем. Красноречивые военные почести проводили его тело в могилу, почести, на которые мы, живые, смотрим часто с горькой, глубокой, темной завистью. Это смерть с каким-то отголоском из жизни, с каким-то следом на земле...

.....

Через сколько-то времени тот же батальон, который шел за гробом полковника, построился на поле для другого дела. Перед фронтом стало пятеро солдат. Между ними был один без ружья, в одежде, не подчиненной уже форме. Отдали честь. Батальонный адъютант прочел бумагу. Раздалась команда: - Стройся в две шеренги, ружья к ноге... Проворно разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты ловко схватили их и красиво взмахнули ими по воздуху и, подтрунивая над своим товарищем, пробормотали: - А пришлось прогуляться по зеленой улице. Забили в барабаны и - ввели его в эту улицу... Многие

офицеры отвернулись... Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка...

.....

Я не знаю, что случилось с княжной. Она исчезла от меня, как исчезает от нас будущность в потемках неба и завтрашнего дня. Исчезла, может быть, в одиночестве печали, а может быть, в ослепительных, неясных перебивках блистательного света. Знаю только, что некогда на берегу Красивой Мечи лежал гранитный камень, обнесенный железной решеткой, куда, бывало, каждый день приходила она плакать и откуда однажды убежала с ужасом, потому что к этому же камню привели два лакея дряхлую, ветхую женщину с печатью страшного разрушения на лице и с цветами на чепчике. Эта полуистлевшая женщина проснулась рано, если бы лезненное оцепенение членов можно назвать сном, вскочила на постели и вскрикнула: - Сегодня рождение Сашеньки! подавайте новое платье, нарядный чепчик, цветов; подайте ятаган... я подарю его Сашеньке!